



Рассказ

Долго зима стояла, очень долго. Март снегами весь был укутан. Весна застряла где-то, терпения уже не хватало её ждать. Кругом сугробы, за зиму их нанесло. Улицы как бы в провалах тянулись. Иной раз одна кабина грузовика виднелась, но чаще — пошадная голова да кнут возницы взмывали как бы сам по себе в снежных окопах.

Узкие тропинки вылились вдоль заборов, на которых редких прохожих толкало из стороны в сторону и шатались они, как пьяные, а голодно пахло стылыми сырыми снегами, под которыми уже тяжело шевелилась талая вода.

Давно надоело Игорьку маяться у окна, смотреть на голые, качающиеся на ветру сучья деревьев, на кусты сирени, задавленные сугробами, и вздрагивать, спохватываясь с радостным испугом, когда мимо тёмных стёкол промелькнёт, взблеснув ледяной иглой, редкая капель, падающая из слабеньких, мутноватых сосулек.

Но вот и апрель куда-то делся вместе с зимой, а тепла всё не было. В сад, на улицу Игорька, правда, теперь пускали, но играть всё равно не с кем. Мальчишки соседней Пожарки были старше его, а девочки тоже компании с ним не водили. И он бежал, как к товарищу верному своему, к большой луже, которая начиналась почти сразу же за калиткой и разлилась на всю Красную площадь — так назывался этот городской пустырь.

Можно щепку пустить по воде вместо кораблика, а потом разбомбить его камешками, или ещё что-нибудь придумать, но всё же одному играть было скучно. А когда мимо пробежал кто-нибудь из Пожарки, Игорёк делал вид, что страшно увлечён и занят интереснейшим делом. Прищуривая один глаз, поджимая губёшки, он целился, примеривался несколько раз, устремляя озябшую красную руку в сторону вражеского корабля, и, крутнувшись на одной ноге, бросал гранату, изображая взрыв. Но обмануть никого он не мог. Все видели: один он и ему скучно, и водиться с Игорьком всё равно никто не хочет. Он, во-первых, маленький ещё, а во-вторых, хоть и рядом с Пожаркой живёт, а всё равно чужой.

Домой он возвращался с промокшими ногами и даже обшлага рубашки сырыми оказывались. Мать только безнадежно вздыхала. Сил ругаться у неё не было. Сына её почему-то тянуло к воде, что с этим поделаешь?

А война, так же как и холода, всё не заканчивалась, всё длилась, а все ждали, ждали, ждали, когда же она, проклятая, завершится, а похоронки почтальоны всё приносили и приносили, и холодно было всё кругом как бы застыло, а жизнь шла своим чередом и под застывшим ожиданием. И невзирая на погоду, почки на деревьях набухали стали. На кустах сирени нарядились серовато-сизые цветочные ладошки и зябли, насулившиеся, тепла тоже хотели.

И вот как-то ранним-ранним утром им, Савельевым, в закрытые на ночь ставни как застучит кто-то, как забарабанит, как ударит! Мать вскопчила, заметалась в потёмках суматошно, задышавшись, заклептала нечто горловое, неразборчивое, а потом как закричит:

— Коля! Коля! — Так звали отца, который ушёл на фронт в сорок втором году, и с тех пор не было от него вестей, пропал. Игорёк отца своего не помнил.

А снаружи, со двора, нёсся, глуша

материнские клокотания, истощный, из самой утробы рвущийся, торжествующий, надсадный, рыдающий женский вопль.

— Победа-а! По-бе-да-а!!!

Игорёк испуганно вскочил, кинулся вслед за матерью к распахнутой двери. Кто-то уже отворил ставни, хлынул свет: на дворе было белым-бело, снег выпал на распушавшиеся почки клёнов, на серенькую завязь сирени. И мальчонке почудилось: зима возвращается, и он, не понимая ничего, испугался, спрятался в углу за пустым сундуком, закрыл глаза и заткнул

всех сил прижала к себе и затряслась вся мелко-мелко. Игорёк, подняв лицо вверх и глядя на слепое, искажённое, залитое слезами лицо матери, вскоре затах, и она, распрямившись, стала вытирать слёзы пальцами и за этим занятием виновато, измученно улыбнулась ему и стала собираться на работу.

И еле-еле доплелась до номерного своего завода, где она сидела в бухгалтерии за расчётным столом. Весь день она вскидывалась вся, когда открывалась дверь. На худеньком большеглазом лице её столько было ожи-

лям сын, старший лейтенант Клепиков, и как лёг дома в постель, так больше и не вставал и через несколько дней умер. Вот у кого награда было! Их несли на подушечках впереди гроба.

Игорёк, сам не зная как, увязался за огромной похоронной толпой народа. Музыка всплескивалась, разрывала душу, плакали женщины. Игорёк, не спросив разрешения у матери, зачарованный горем, слезами, видом покойника, бескровного, строго-равнодушного лица его к торжественному плачу медных труб и натуженным

Игорька. Кальдос, самый старший из этой компании, объяснил своё решение тем, что вчера Игорёк ходил хоро-



Георгий САТАЛКИН

День Победы

уши, чтобы не слышать, как криком плачут и смеются женщины за окном.

Но звуки всё равно прорывались. Голосов уже было много, мужской прокуренный хриплый смех откуда-то накатывается и словно бы падал с уступа на уступ, задышался. И материн-

дания, так оно оголялось, высвечивалось, трепетало надеждой, что сослуживцам было невыносимо смотреть на неё, и не смотрели, а если взглядывали, то украдкой, тайком.

Все знали, что в начале войны пропал без вести её муж и что теперь,

ударам огромного барабана, рыданиям медных тарелок, семенил сбоку похоронной процессии.

Кладбище было за городом, проследовали по предбанному пустырю мимо остатков женского монастыря, огромной водонапорной башни,



ский голос Игорьку слышался. Но вот весь этот гул клубком каким-то выкатился за калитку. Какое-то время было тихо. Затем послышался скрип щелястых половиц и медленно, держась за косяк двери, появилась мать в ночной матой сорочке, с платком на плечах, со всклокоченными волосами. Войдя в комнату, и прислонившись к стене, она упала лицом на согнутую руку, сотрясаясь всем своим худеньким телом.

Игорёк, выбежав из своего убежища, растерянно смотрел и слушал, как убивается мамка. Она плакала, а он стоял и не знал, что ему делать. И стало ему так бесприютно, так плохо, как никогда ещё не было, а тут ещё засосало, заныло болезненно в пустом животе. Вчера вечером мать угорюрила его лечь спать без ужина, сказкой усыпила его, а теперь голод опять накинуся, и он захныкал, а потом по-настоящему, сам не зная почему, заревел.

И мать, вдруг повернувшись к нему рывком, судорожно обняла его, изо

когда война окончилась, когда повсюду гремит музыка, когда грохочет, рассыпая звёзд блещет салют, когда счастье безмерное кругом, у Лиды Савельевой рухнула последняя надежда на возвращение с войны мужа её, Николая. А она всё ждёт и ждёт безнадежно, ждёт...

Стали возвращаться домой фронтовики. Медали, ордена на выгоревших гимнастёрках и парадных кителях. Пилотки со звёздочкой лихо, чуть набекрень сидели на головах солдат. Гармошка то там, то здесь заливалась, трофейный аккордеон многоголосно, чудно кричал.

Уже и пленные немцы потихоньку убрались, не работали больше на стройках города, когда в Пожарку тоже стали приходить фронтовики. Игорёк бегал на них смотреть и каждый раз ему казалось, что следующим будет его отец, обязательно он. Обязательно.

А один раз в квартиру над гаражом пожарных машин вернулся к родите-

возле неё свернули и пошли по улице, ведущей уже прямо к загородному кладбищу. Когда стали опускаться гроб в могилу, оркестр зарыдал совсем уже невыносимо, понесли причитания, стоны, завывания, томные возгласы, их глуша затрещал, разорвал воздух кладбищенский, раз, другой, третий военный салют из винтовок. Игорьку тяжело было, сиротливо. Он не плакал, но на лице его застыло выражение какой-то обиды, какого-то недоумения, точно наказали его несправедливо, неизвестно за что.

Как возвращался он домой, Игорёк не помнил. А когда явился, мать набросилась на него вся зарёванная, в слезах, с распухшим красным носом и в ярости только что пережитого отчаяния и счастья, что сын наконец нашёлся, больно оттолкнула его.

На следующий день мальчишки Пожарки собрались идти на железнодорожный вокзал, чтобы посмотреть, как на станцию прибывает поезд с возвращающимися домой фронтовиками. И вдруг согласились взять с собой

нить дядю Серёжу Клепикова, старшего лейтенанта, и мать побила его за это. Не за это, хотел сказать Игорёк, а за то, что без спросу. Но не сумел возразить, промолчал. Он рад был, что его вместе со всеми взяли, и еле-еле уприсил мать отпустить его с ребятами из Пожарки встречать на вокзале вернувшихся с войны, и мать заплакала и отпустила, махнув куда-то рукой.

Узкий перрон пёстро кишел встречающимися. Мальчишки во главе с Кальдосом — он уже втайне покинул в и лягу играл лучше всех, и чубчик косой у него на стриженной голове красовался — забрались на пешеходный железнодорожный мост. Их прижали к решётке перил. Гул голосов перекачивался, ройлся над длинной толпой, лягз вагонных сцепок, разноголосые гудки маневренных паровозов, что-то сонно объявляло радио, где-то весёлое, бесшабашное наяривала гармошка, пахло углём, дымом из топок, пресным паром от паровозов, — все эти разнообразные звуки и запахи сминал, колебал, усиливал порывистый ветер, упругий и холодный.

На мосту, на самом ветродуе, Игорёк замёрз. Он сильно намёрзся за длинные голодные зимы войны и ему часто делалось холодно. Победа наступила, — думал он, — а холодно, тепла всё нет.

Но вот люди закричали, заколыхались, ходуним заходили головы: радио как из пустой бочки объявило что-то. И вскоре вдали, в усах белого пара и дыма, показались паровоз. Он всё ближе, он всё явственнее надвигался, можно уже было различить Сталина на портрете на самом носу с потрёпанной листвой — где-то далеко, откуда прибыл состав с демобилизованными, тепло уже стояло, весна там пришла.

Пыхтя, отдышавшись сопя, паровоз, чуть миновав перекидной мост, облепленный народом — мальчишками и взрослыми, — устало остановился. И что тут начало твориться! Какие крики понеслись, забилась, заходила в истерике счастья толпа, — всё смешалось в глазах Игорька, он перестал соображать и сам не мог понять, отчего он то смеётся, то всхлипывает. Как вдруг оглушительно зазвенел мальчишеский голос прямо над ухом Игорька:

— Па-а-пка! Па-апка мой!

Оглянувшись испуганно, Игорёк наткнулся на выкупленные безумные глаза и распыленный рот Кальдоса. Он тыкал пальцем куда-то вниз, указывая на какого-то солдата с вещмешком на плече и звенел не переставая:

— Папка, па-апка! Я здесь, я щас! Подожди! Смотрите, смотрите! Это мой отец! Он вернулся!

Кальдос кинулся по ступенькам вниз, протиснулся в дыру сквозь пе-

рила, прыгнул на землю. Игорёк его потерял почти что сразу в густо колышущейся толпе, в мешанине пилотов, фуражек со звездой, картузов и женских непокрытых и в косынках голов.

Как они нашли всё-таки друг друга, как добрались от железнодорожного вокзала до форштадской Пожарки, Игорёк плохо помнил. Радость переполняла его. Он рысцой, шлёпая сандалиями бежал к сзади роём облепившей отца Кальдоса, дядю Ивана, детворы, то сбоку заглядывая, то наперёд забегая и несколько шажков шёл задом, чтобы видеть лицо солдата, и один раз упал и кто-то сердито его поднял и дурашливого пинка даже дал.

Игорёк обиделся было и отстал, глядя в спину отца Кальдоса, на тощий его вещевой мешок, но быстро потерял обиду, запыгал, шлёпая разбитыми сандалиями, стал догонять ушедших.

Ему по-прежнему казалось, что следующим вернётся с войны его отец. И вот тогда уж он с ним рядом пройдёт, двумя своими руками будет держаться за его тяжёлую тёплую руку.

Во дворе Пожарки дядя Иван присел на лавочку. Он уже узнал от сына, что письма, в котором он оповещал, что демобилизуется и возвращается, дома, оказывается, ещё не получили, и он послал сына предупредить мать, чтобы не убить её внезапным своим появлением. Игорёк шмыгнул за Кальдосом — никто его даже не заметил: народ уже сбегался, летел отовсюду к фронтовику.

Не обратила внимания на чужого мальчика и мать Кальдоса, когда тот стал её что-то плести про отца. Помертвев, с открытым ртом в беззвучном вопле, деревянно выставив руки, она кинулась по коридору во двор.

Игорёк не видел, как она подожжено упала, но её тут же подхватили и коридор заполнил топот, громкие возбуждённые, радостные голоса и в тесную комнатку дяди Ивана ввалилась толпа во главе с ним — за руки его ввели — в сбившейся куда-то на затылок пилотке, в выгоревшей гимнастёрке, с лицом растерянным и счастливым покорным. На груди у фронтовика тускло сияли две медали, и Кальдос пытался на них что-то прочитать.

Игорёк своё место знал: забился в укромный угол за спинкой кровати, и когда все, кроме родных, покинули комнату, он потихоньку выбрался из укрытия и молча стал наблюдать, как дядя Ваня достаёт из вещмешка подарки родным своим. Жене — цветастый платок, сыну — губную блестящую гармошку, дочери — ленты для косичек. И тут все заметили молча ждущего чего-то Игорька. Ждал он с лицом серьёзным и строгим.

Тогда дядя Иван пошарил на дне вещмешка и достал оттуда стопбик крупных конфет в мутноватой бумажной обёртке. Леденцы были бледно-зелёного, желтоватого и бурчаного цвета.

Откопупунув толстым мозолистым пальцем один кругляшок, солдат протянул его мальцу. Тот тотчас же захлопнул подарок в рот, потому что вспомнил, что есть ему давно хочется. Вкус у конфеты был какой-то невнятно-сладкий, обманный словно бы.

— Когда мой папка вернётся, — вдруг сказал Игорёк, — он мне сразу две конфеты даст. Вот вернётся только с войны косяк.

Все притихли сперва, а потом невелико засмеялись. Отец Кальдоса притянул мальчонку к себе и тяжёлой рукой погладил его стриженую голову.



Рассказ

Внуку Мухаилу

Свое прошлое, память о родных и друзьях я храню в старом саду.

Утро. Ночью прошёл дождь. Трава под деревьями усыпана опавшими яблоками. Среди зарослей малинки и девясилы, здесь и там возникают зыбкие тени, тени обитателей сада, а в воздухе временами проступают очертания знакомых и незнакомых городов, улиц, переулков, звучит позабытая музыка.

Обитатели сада разбрелись среди деревьев, одних я хорошо знал, с другими только встречался, иных видел лишь на фотографиях. Кто, например, этот величественный старец в сюртуке с орденом Святой Анны второй степени на шее или плотный, бородатый мужик в поддёвке? Тени их обозначились и тотчас растали среди яблонь. А это что за юный городок у моря: беленные известью дома с окнами, прикрытыми ставнями, сады, обрывистый берег, с которого видно море, полуденный зной, стрекот цикад на пустыре, белая бабенка маяка? А вот деревня на взгорке, внизу, у подножья, широкая спокойная река. Отчего вдруг сладкой тоской отдаётся в сердце это видение? Ведь никогда я там не был, но деревня часто приходила ко мне во снах, видел я двухэтажный деревянный дом, скользкий по его комнатам и даже запах запомнил — запах только что испечённого хлеба и сушёной травы, пучки которой висели в углу просторной кухни. Я ни разу не ездил верхом. Откуда же тогда ощущение упругой твёрдости седла и то пьянящее чувство, что возникает при быстрой езде. Генетическая память или память многих прожитых жизней?

В зарослях одичавшей малины начинается едва приметная тропинка. Проплетая среди осен, она ныряет в лизину — мелкий овражек — и начинается карабкается вверх, на взгорок, по обе стороны плотными зелёными стенами стоит цветущая крапива, к её резкому запаху примешивается тревожный аромат каких-то

светло-жёлтых соцветий.

На вершине взгорка слышен отдалённый гул Минского шоссе. По-видимому, оболочка, отделяющая параллельный мир, здесь истончается, и тяжёлый, мерный звук напоминает о другой, земной жизни. Там по опавшему асфальту угрюмо несётся поток автомобилей, ворочается, одышливо всасывая задымленный воздух, огромная столица. Но это там. А здесь, на взгорке, куда ни глянь, синими увалены откатываются леса. Я спускаюсь по каменной тропе. Становится прохладней, сочные хвощи матово светятся в сумерках, где-то

Юрий ПАХОМОВ-НОСОВ

Озеро вечности

взблуживает ручей, лес всё гуще и гуще, гложут звуки. Деревья дышат мне в лицо. Я слышу их приглушённые голоса — это они переговариваются друг с другом.

Сумерки падают незаметно. Из леса я выхожу уже затемно, хотя это и не ночь, даже в полнолуние воздух не бывает таким прозрачным и серебристым — эффект рождает поверхность озера, в его воде отражаются огни костров, светящиеся точки ярусам рассыпаны над озером, они вспыхивают, гаснут, перемигиваются со звёздами. Им нет числа, и всё же я узнаю свой родовой костёр, точнее, несколько костров — они разложены полукругом у самого озера. Неверный, колеблющийся свет выхватывает из темноты узкую полосу пляжа, вода на мелководье прозрачна, видно ребристое песчаное дно. От ближайшего костра поднимаются трое и идут мне навстречу. Крайний слева дядя Павел, на нём мятая порывшая гимнастёрка, погоны подпоручика, Георгиевский крест на груди. Салоги его не касаются земли, но я слышу мерное позвякивание шпор. Рядом с ним мой отец, в чёрных петлицах танкиста отсвечивает "шпала", на левом рукаве — звезда. Старший политурук странно смотрится рядом с белогвардейским офицером. "Здравствуй, сын!", — говорит отец. Мы обнимаемся. От отца пахнет болотной травой. Из-за его плеча мне радостно улыбается Жорик, шлем он снял, ветерок растрепал волосы. Все трое молодцы: отцу — самому старшему из них — тридцать три, дяде Павлу едва перевалило за двадцать, а Жорику — семнадцать. Разные судьбы. Брат матери дядя Павел погиб в пустыне Каракумы, когда отряд белых офицеров уходил от преследования красных конников, отец сложил голову где-то под Пинском, мой двоюродный брат Жорик сгорел в штурмовике над Прохоровским полем.

У них нет ни могил, ни надгробий. Здесь, у озера, собраны войны, тела которых так и не были преданы земле. За соседними кострами объединились несколько наших родов. Это только те, о ком я знаю. Как-то я набрёл на костёр, у которого грелись татарские войны.

Ближе всех к огню сидел молодой хан, от которого побежал скучающий ручеек нашего рода по отцовской линии. Иногда из темноты выходили и садились к огню совсем незнакомые воины: скифы, печенег, древние русичи. Всех их унесли бесконечные войны, и тела их не были похоронены по обряду, а остались на поле брани. Я здесь, на берегу озера, выгляжу стариком. Но ведь я только юнец. И кто знает, уготован ли мне сад или волею Судьбы я займу место у родового костра на берегу озера — время тревожное, а я ещё способен держать в руках оружие.

Я подхожу к костру, усаживаясь на обрубок бревна. На всём печат вечности: пламя жарко бьётся в костре, искры светялками уносятся во тьму и гаснут, но берёзовые дрова никогда не сгорают, никогда не увянет высокая, отяжелевшая от росы трава, скрывающая соседние родовые костры, никогда не обмелеет озеро. Не изменится и тема бесед у костра.

— Хуже нет, когда умираешь медленно, один — ни единой живой души вокруг, — говорит отец. — Тишина. Редко чвыркнет птица, и отдаленный, откатывающийся на восток гул. Вся прожитая жизнь перед тобой, как на ладони. Меня ранили во время последней попытки вырваться из окружения. Две недели блуждал по лесу, голодные, оборванные — горстка красноармейцев, я старший. Нас предал лесник, вывел прямо на немцев. Немцы потом ещё полчаса обстреливали болото из минометов, никто не уцелел. Как я выбрался на островок, не помню. Островок — метра три в перечине, трава, кочки, лозняк, берёзка — вот всё, что выпало мне увидеть напоследок. Да ещё небо. Никогда я ещё так близко не видел неба. Боль вскоре ушла, осталась тоска. Я ведь был убежден, что ты и мать погибли там, в Кобрине. Один боец из штаба дивизии, прибывший к нашей группе, сказал, что в штабной автобус с эвакуированными женщинами и детьми на мосту через речку Мухавец попала бомба. Тяжело умирать с сознанием, что не смог защитить семью.

Отец выхватывает из костра уголёк, подбрасывает его на ладони. Ветер шестелит в траве, где-то вдалеке слышится песня, мотив её мне незнаком.

Я, в который уже раз, слушаю рассказы отца, брата и дядки об их гибели и думаю, что моя жизнь тоже могла оборваться много раньше. Скажем, тогда, под Кобрином, или во время бомбежки в Могилёве — бомба угодила в сквер пятью минутами позже того, как мы с мамой встали со скамейки. Я мог погибнуть под обломками во время ашхабадского землетрясения. По-видимому, providение для чего-то берегло меня. И я профессию себе выбрал не очень спокойную, став военным врачом.

Судьба, словно выполняя некую программу, швыряла меня из одной "горячей" точки в другую: Гвинея в канун государственного переворота, сомалиско-эфиопский конфликт, война в Эритрее. В 1987 году я семь раз перелетал линию фронта — на нашей базе на острове Нокра в Красном море шла тяжёлая эпидемия тропической малярии, а у повстанцев, окруживших Асмару, на оружии уже появились "стингеры". И у меня была возможность стать "неизвестным солдатом", например, в тот день, когда из блокированного повстанцами порта Массауа я вылетел на крошечной

авиетке и над горами нас обстреляли из крупнокалиберного пулемёта. Дымчатая трасса прошла в метре от пропеллера. Если бы самолёт сбили, нас с пилотом, точнее, наши тела никогда бы не извлекли со дна каньона...

Судьба благоволила, как я теперь понимаю, ко мне лишь потому, чтобы остался хоть один человек из семьи, который своей памятью смог бы продлить жизнь ушедшим...

— Все мы здесь мечтаем об одном: обрести покой, — тихо говорит отец. — Некоторым везёт. В последнее время вон на том мысу — видишь, слева! — погасли сотни костров, тогда молодым поисковикам удалось найти и похоронить останки красноармейцев и командиров, погибших под Мясным Бором.

Я опустил голову:

— Ты знаешь, мы искали тебя. Куда только не писала мать. Да и я...

— Знаю, сын. Но шансы мои невелики, Пинские болота не скоро осушат. У Павла и Жорика положение не лучше. Видно, нам вечно придется сидеть у этого костра. Сегодня прекрасная ночь, пойдём пройдемся. В жизни нам ведь так и не удалось вместе погулять.

Мы идём молча. Я уже рассказал отцу о жизни, прожитой без него, рассказал, стараясь не опускаться детали. И ко мне самому возвращается то, ушедшее время — я как бы заново проживаю его, поражаюсь, сколько добрых людей встретилось на моем пути. В голубоватом, светящемся воздухе вспыхивают и гаснут картины, от которых щемит сердце. И когда мне становится совсем невмогучо, я чувствую на плече твёрдую руку отца, и мне становится легче.

Отец сегодня чем-то огорчен, недоволен. Внезапно с померещного неба срывается звезда, оставляя светящийся след, она описывает дугу, падает в озеро, вода разом вспыхивает синим спиртовым пламенем, и откуда-то издавка доносится медленный, тягучий удар церковного колокола. Длится это какие-то доли секунды, но вот пламя гаснет, колокол умолкает, и озеро обретает прежний вид.

— Что это? — спрашиваю я.